

Этика молчания. Случай Беккета и Витгенштейна*

О.А. Коваль, Е.Б. Крюкова

Неписаное нравственное учение Людвиг Витгенштейна, характеризующееся им самим как принципиально не поддающееся вербальному выражению, сопоставляется с основной смысловой интенцией романов Сэмюэля Беккета, где связь молчания и говорения акцентируется в качестве экзистенциальной проблемы. Сравнительный анализ осуществляется по нескольким направлениям и затрагивает ряд спорных вопросов, которые в смоделированном диалоге между Беккетом и Витгенштейном получают всестороннее освещение. В поле внимания попадают следующие принципиальные моменты: феномен бессмысленности, обоими авторами трактуемой как промежуточная зона при переходе от говорения к молчанию; крушение иллюзий относительно языка как гаранта разумности мира; вопрос о языковом конструировании любого, в том числе научного, знания; устранение логической дихотомии истинности и ложности речи; прямая зависимость субъекта и понимания субъективности от власти языка. Представленное в таком ракурсе творчество двух знаковых фигур XX в. позволяет увидеть в замолкании языка, конституирующего мир, формирующего образ мира, ценностную категорию иного типа этики. Предложенная Беккетом и Витгенштейном апофатическая парадигма может быть рассмотрена в качестве альтернативы традиционным моральным доктринам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Л. Витгенштейн, «Логико-философский трактат», С. Беккет, этика, язык, молчание.

КОВАЛЬ Оксана Анатольевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и религиоведения, Русская христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург.

ox.koval@gmail.com

КРЮКОВА Екатерина Борисовна – кандидат философских наук, независимый исследователь, Санкт-Петербург.

deriobo@gmail.com

Статья поступила в редакцию 13 апреля 2018 г.

Цитирование: *Коваль О.А., Крюкова Е.Б.* Этика молчания. Случай Беккета и Витгенштейна // *Вопросы философии. 2019. № 1. С. 77–87.*

Странная задача: говорить о себе. Странная надежда, обращенная к молчанию и миру.

Сэмюэль Беккет. Безымянный

Там, где другие идут дальше, я делаю остановку.
Людвиг Витгенштейн. Культура и ценность

* Статья написана в рамках проекта РФФИ № 18-311-00268 «Поэтика философского мышления: культурная парадигма модерна и современные тенденции» (The paper is written with financial support from the Russian Foundation for Fundamental Research (RFFI), Project № 18-311-00268, “Poetics of Philosophical Thinking: The Cultural Paradigm of Modernity and Contemporary Trends”).

XX век своей катастрофической событийностью опроверг возвышенные представления эпохи Просвещения о благой воле человека, об априорной устремленности к жизни добродетельной, о гуманизме вообще. При всех попытках легитимировать моральное измерение человеческого существования вдруг оказалась поставлена под вопрос сама возможность этики. Более радикальный кризис ценностей для мышления, которое (в стремлении к революционному обновлению) последовательно разрушало метафизические установки традиционного философствования, пожалуй, трудно себе представить, поскольку перед решением этической проблемы оно вынуждено было отступить, расписавшись в своем бессилии. Интерес к языку, проходящий красной нитью сквозь интеллектуальную историю XX в., скорее только обостряет этическую проблематику, нежели нивелирует ее: если еще сохраняется надежда обрести основания новой нравственности на руинах старой, то разрушить язык, сопровождавший и усугублявший крах гуманистических ценностей, невозможно. Тотальное недоверие к языку, возникшее в философии и литературе после Второй мировой войны, свидетельствует об осмыслении той фундаментальной роли, которую играет язык, превратившись из средства выражения в стихию рождения мысли и поступка.

Связь этики и языка в качестве подлинно философской проблемы, обреченной оставаться неразрешимой, определил еще в своей ранней теории Людвиг Витгенштейн. Главным достижением «Логико-философского трактата» сам автор считал максимальное приближение к сфере сверхрационального знания, не облакаемого в слова, знания о том, «что я должен делать» (Кант).

Моя книга как бы проводит границы этического изнутри; и я убежден, что оно *строго* ограничивается ТОЛЬКО так. Короче, я полагаю, что все то, о чем многие сегодня болтают, я устанавливаю в своей книге тем, что я об этом молчу [Витгенштейн 2009^б, 318].

Императив молчания, который провозглашает Витгенштейн, не отрицает этику как таковую, а свидетельствует о несостоятельности традиционных подходов, которые пытались выстроить систему строгих моральных правил посредством нормативных высказываний. В отличие от прежних нравственных учений — будь то онтологизация блага, религиозная догма, утилитарная этика или критика практического разума, — которые условно можно обозначить как катафатические, Витгенштейн выступил с апофатической программой, отрицающей вездесущность логоса и подвергающей сомнению силу слова на terra ethica.

Другой автор, не менее знаковый для западной культуры XX в., писатель Сэмюэл Беккет, тоже ставит свое творчество на службу молчанию. И хотя молчание, к которому стремится Беккет, на первый взгляд находится вне этического контекста (если не оценивать поверхностно его героев — вечных аутсайдеров, психических и физических калек — как намеренный вызов общественной морали), беккетовская борьба с языком во многом сродни философским поискам Витгенштейна. Художественные опыты Беккета, направленные на то, чтобы достичь глубин языка, исчерпав его возможности, демонстрируют маргинальные формы жизни, которые не только обретаются «на краю», но и максимально подступают к границам невыразимого. Многих героев Беккета отличает сознательное или бессознательное желание перестать говорить, сопровождаемое смутным ощущением того, что речь сама по себе есть нечто дурное, аморальное. Однако жизнь человека разворачивается в пределах длящейся речи, замыкается в границах языка, и когда Беккет пытается допустить в это герметичное существование феномен молчания, то тем самым он ставит под вопрос «логосность» мира, навязывающую смысл всему, что имеет место.

То общее, что объединяет Беккета и Витгенштейна, это болезненное осознание недостижимости окончательного молчания, идеальной «тишины, что лежит в основе Всего» [Беккет 2009, 98]. Для обоих авторов молчание является не просто данностью, соответствующей временному умолканию, а предельным экзистенциальным состоянием, для которого необходимы поистине титанические усилия: «...я хочу замолчать. Не так,

как сейчас, чтобы лучше слышать, но мирно, победно, без скрытого мотива. Вот тогда началась бы настоящая жизнь, наконец-то жизнь» [Беккет 1994^а, 342]. Молчание оказывается единственным аутентичным способом выразить невыразимое, располагающимся по ту сторону языка. Зная о недостижимости молчания и, тем не менее, подчиняя все творчество тому, чтобы его утвердить, Беккет и Витгенштейн придают своим утопическим проектам нравственное измерение. Однако их апофатическая этика выступает уже не сводом общих предписаний или учением о должном поведении, а личным усилием индивида, утратившего веру в незыблемость критериев добра и зла.

Путь к молчанию, который, каждый по-своему, силятся отыскать Беккет и Витгенштейн, лежит через «ничейную землю» бессмысленности. Ранний Витгенштейн объявляет все философские высказывания бессмысленными, вследствие чего (не без содействия Венского кружка) получает репутацию воинствующего сциентиста. На самом же деле австрийский мыслитель вовсе не намеревался превозносить научные истины: «Мы чувствуем, что, если бы даже были получены ответы на *все возможные* научные вопросы, наши жизненные проблемы совсем не были бы затронуты этим» (6.52)¹. Эпитет «бессмысленный», относимый к философским сентенциям, призван объяснить, что философия стремится вырваться за границы мира и языка. Ее предложения бессмысленны ввиду превышения, а не нарушения логических связей. Спустя десять лет после написания «Трактата», в завершение лекции об этике, Витгенштейн уточнит свою позицию:

То есть сейчас я понимаю, что данные предложения (философско-этические. — *О.К., Е.К.*) оказались бессмысленными не в силу того, что я не подобрал для них правильное [лингвистического] выражения, а потому, что бессмысленность была самой их сущностью, и все, что я хотел сделать с ними, так это просто выйти за пределы мира, т.е. *за пределы* обладающего значением языка [Витгенштейн 2009^в, 341–342].

И еще более определенно — уже в качестве собственной дидактической установки — в «Философских исследованиях» (1953): «Чему я хочу научить — так это переходить от неявной бессмыслицы к бессмыслице явной» [Витгенштейн 1994^в, 218].

Беккета же и вовсе можно назвать первым «сталкером», надежным проводником в зону языковой бессмысленности. Сама траектория его творческого пути есть постепенное углубление и погружение в непроходимые дебри языка. Вычурный стиль ранних произведений Беккета, свидетельствующий о его зачарованности тем калейдоскопом значений, который язык способен порождать сам из себя, резко контрастирует со стремлением позднего Беккета подорвать налаженный механизм языкового смыслопроизводства с целью разоблачить речь в ее безответственной всепроговариваемости:

...лучше, по крайней мере не хуже, зачёркивать написанные слова, а не писать на полях, не вписывать в дырочки букв до тех пор, пока всё не потеряет смысл, не станет одинаковым, а то призрачное, что было написано, не окажется тем, что оно есть — бессмысленным, бессловесным, безысходным [Беккет 1994^б, 10].

Эта фраза из «Моллоя» (1951) словно бы обращена против себя прежнего — автора романа «Мечты о женщинах, красивых и так себе» (1932) и маркирует поворот Беккета к «критике языка»². В такой перспективе — целенаправленного развенчания языка — взятый Беккетом «курс на худшее» видится не как эстетический метод, а как сознательный этический принцип.

Произведения Беккета, сигнализирующие своей языковой бессмысленностью о переходе границы логики, которую ранний Витгенштейн считает каркасом вербального и реального универсума, вполне могут быть приравнены к философским высказываниям в понимании австрийского мыслителя³. Какими бы странными ни казались тексты Витгенштейна, нарушающие привычный порядок философского дискурса, он все-таки вынужден держаться в рамках того, что может быть сказано ясно, тогда как Беккет

позволяет себе переступить эту условную черту, отгораживающую в самом языке допустимое и недопустимое выражение. Такую привилегию дарует литература, которая по определению является пространством фиктивного. Необязательность ее высказываний, свободных от необходимости принимать форму истины или лжи (их неверифицируемость и нефальсифицируемость), свободных от той неизбежной дихотомии, которой следуют все научные констатации о мире, делает вербальную «действительность» художественного произведения гибкой и податливой для всевозможного моделирования. Изящная словесность, мало интересовавшая самого Витгенштейна, на самом деле может служить лучшим подтверждением его идеи о том, что не только язык выступает отражением мира, но и мир в равной степени оказывается отражением языка.

Наиболее ошутимо близость двух авторов проявляется в первом абсурдистском романе Беккета «Уотт» (1953), на что не раз обращали внимание исследователи⁴. Несмотря на заверения Беккета, что во время написания романа он еще не был знаком с работами Витгенштейна (впоследствии он восполнил этот пробел: в его личной библиотеке присутствует большинство произведений философа и множество трудов о нем), до сих пор бытует мнение, что «Уотт» представляет собой своего рода пародию на «Логико-философский трактат». На самом деле поиски Беккета, связанные с испытанием языка, шли параллельно исследованиям австрийского мыслителя. Роман создавался на протяжении нескольких тяжелых военных лет, и его художественное «безумие» мыслилось автором как средство спасения от безумия личного⁵ (примечательно, что тогда же, в 1944 г., Витгенштейн, который всегда опасался за свой разум, сделал на полях одной из своих рукописей следующую заметку: «Как в жизни нас окружает смерть, так и наш здоровый рассудок окружен безумием» [Витгенштейн 1994^а, 452]). И хотя тема сумасшествия присутствует в самой фабуле романа, главным ее генератором остается язык.

Подобно Витгенштейну, выстраивающему теорию мира на элементарных языковых единицах и непоколебимости логических связей между ними, Уотт силится отыскать в языке надежные основания для устойчивости в неупорядоченном нагромождении жизни. Он обитает в мире, где нет разницы между словами и вещами, и потому хаос реальности мало-помалу перетекает в пространство речи, которая словно бы сходит с ума. Составляя подробнейшие списки, перечисляя как действительные, так и потенциальные обстоятельства, пытаюсь обрисовать все возможные комбинации между вещами, главный герой не только не достигает желаемой ясности, но буквально проваливается в языковые ямы. Четко расчерченная вселенная Витгенштейна, где предложения являются запечатлением фактов, грозит обрушиться и похоронить под собой человека. Первоначальная вера Уотта во всемогущество языка, который способен внести стройность и слаженность в лишившийся порядка мир, постепенно сменяется желанием превратиться в транслятора неуправляемой реальности. Тогда Уотт меняет местами части фразы, перемешивает слова в предложениях, переставляет буквы в словах в обратном порядке, добиваясь максимального соответствия речи вывернутому наизнанку миру:

Акоп ен леширп нед тидоух. Ин тоу, ин тон. Ин молет, ин мохуџ. Ин виж, ин втрџ. Ин уваян, ин ов енс. Ин нетсурџ, ин лесев. Кат лиџ еоротокен ямерв.

Это ничего для меня не значило.

Ушорп яинешорп, яинешорп, говорил Уотт, ушорп яинешорп [Беккет 2004, 268].

Понимание, которое до последнего брезжит в бредовых речах Уотта, опровергает учение Витгенштейна в той его части, которая отводит ясному языку логики функцию адекватной передачи мира, и подтверждает его в той, которая постулирует, что смысл жизни лежит за пределами всех возможных фактов.

Исходная уверенность в том, что за словом раз и навсегда закреплено определенное значение, которую Беккету в «Уотте» удастся поколебать, становится для позднего Витгенштейна главной мишенью самокритики. Принимая как должное расхожее пред-

ставление о том, что значением слова выступает именуемый объект, Витгенштейн допускает в «Логико-философском трактате» непростительную, по его собственному признанию, ошибку, которая сокрушает всю стройность ранней концепции. В «Философских исследованиях» Витгенштейн развивает идею, идущую вразрез с принятыми мыслительными и лингвистическими стандартами (в частности, противоположную и его прежним взглядам): он приходит к выводу, что слово получает значение лишь благодаря употреблению, а стало быть, являет собой весьма гибкую форму, готовую вместить гораздо большее содержание, чем то, которое приписывает ему любой известный вокабуляр. Концепция языковых игр, в которые говорящий, используя слово по установленным сообществом «правилам», тем не менее способен привести собственный, дополнительный оттенок смысла, превращает язык в творческую деятельность по преимуществу. Однако субъектом этой деятельности выступает сам язык. Возможно, «Уотт» потому кажется кривым зеркалом «Логико-философского трактата», что Беккет тоже показывает бесполезность знания значений слов без умения их употреблять.

Глядя, к примеру, на горшок или думая о горшке, на один из горшков мистера Нотта, об одном из горшков мистера Нотта, тщетно Уотт говорил: Горшок, горшок. Ну, возможно, не совсем тщетно, но почти. Поскольку тот не был горшком, чем больше он вглядывался, чем больше вдумывался, тем больше убеждался в том, что горшком тот не был вовсе. Он напоминал горшок, почти был горшком, но не таким горшком, о котором можно было бы сказать: Горшок, горшок, и на этом успокоиться [Там же, 124–125].

И такого рода сомнения терзают героя романа на протяжении всего его пребывания в доме мистера Нотта: он знает словарное значение, но оно никоим образом не помогает ему в обращении с вещами. Наоборот, это идеальное значение парализует Уотта, когда он обнаруживает его несоответствие шероховатой поверхности мира.

Невротическая потребность Уотта проговорить все, что может быть сказано, призвана продемонстрировать тщетность попыток обрести смысл, оставаясь в пределах речи. Так, пробравшись тайком в комнату другого слуги и увидев на стене незамысловатую картину, где нарисованы лишь точка и окружность, Уотт не в состоянии справиться с той чередой языковых вариаций, которые порождают два этих элемента:

И он задумался, не пытался ли художник изобразить (Уотт ничего не смыслит в живописи) некий круг и его центр в поисках друг друга, или некий круг и его центр в поисках некоего центра и некоего круга соответственно, или некий круг и его центр в поисках своего центра и некоего круга соответственно, или некий круг и его центр в поисках некоего центра и своего круга соответственно, или некий круг и некий центр, не его, в поисках своего центра и своего круга соответственно, или некий круг и некий центр, не его, в поисках некоего центра и некоего круга соответственно, или некий круг и некий центр, не его, в поисках своего центра и некоего круга соответственно, или некий круг и некий центр, не его, в поисках некоего центра и своего круга соответственно, в безграничном пространстве, в бесконечном времени (Уотт ничего не смыслит в физике), и при мысли, что дело, возможно, обстояло так: некий круг и некий центр, не его, в поисках некоего центра и своего круга соответственно, в безграничном пространстве, в бесконечном времени, глаза Уотта наполнились слезами, которые он не сдержал, и они ровным потоком беспрепятственно покатались по его шершавым щекам, весьма его освежая [Беккет 2004, 204–205].

Уотт становится жертвой собственного беспредельного доверия к языку, который, вместо того чтобы запечатлеть фактическое положение дел, предлагает избыточное множество всевозможных констелляций вещей и событий. Напрасно искать в этой сумятице фраз прячущийся между ними единственно верный аналог реальности: каждый из проговариваемых героем вариантов отсылает не к миру, а к другому такому же

вербальному варианту⁶. Обесмысленный в любой из своих частностей, язык перестает отвечать жизненной потребности в отыскании смысла. Этическая подоплека этого абсурдистского романа как раз и заключается в крушении глобальной иллюзии о языке, выступавшем гарантом присутствия разумности в мире.

Если в «Уотте» молчание проступает лишь в негативном модусе своего существования, в качестве фигуры умолчания — того, чему герой словно бы изо всех сил стремится не дать места, то в последующих романских опытах Беккета, знаменитой трилогии (романы «Моллой», «Мэлон умирает» и «Безымянный»), оно постепенно получает все более четкие очертания, становясь полноценным участником действия. Вскрыв в «Уотте» несостоятельность языка, его неспособность выразить суть человеческой жизни, Беккет создает новый тип персонажей, которые, в отличие от Уотта, не склонны уповать на совершенство языковых структур. Моллой разбивает завораживающее зеркало «логического пространства» Витгенштейна, которое порождает видимость беспрепятственного перехода фактов мира в смыслообразующие формы предложений. Между миром и языком разверзается пропасть, обнаружение которой чревато предельно скептической позицией относительно возможности какого бы то ни было знания о мире и о себе:

Я говорю об этом сейчас, но что, в конце концов, знаю я о том периоде сейчас, когда град ледяных слов осыпает меня, град ледяных значений, и под этим градом гибнет мир, поименованный так вяло и тупо. Всё, что я знаю, — знают слова и неживые предметы, это из их знаний возникает забавное устройство, имеющее начало, середину и конец, похожее на удачно построенную фразу или на долгую сонату смерти. И поистине, какое значение имеет, скажу я это, или то, или что-нибудь ещё. Говорить — значит выдумывать. Обманчиво, как правда [Беккет 1994⁶, 30–31].

Любое знание мыслится Беккетом как языковое конструирование, не имеющее никакого касательства к миру, который оно якобы объясняет. И на первый взгляд, такой подход кажется противоположным витгенштейновскому, декларирующему науку как «целокупность истинных предложений» (4.11) в исходной системе координат, где язык есть «целокупность предложений» (4.001), а «мир — целокупность фактов» (1.1). Однако для Витгенштейна «истинные» предложения науки не составляют какой-либо значимой ценности: по-настоящему ценно лишь молчание, расположенное по ту сторону слов. Поэтому, когда Беккет объявляет любое предложение ложным в силу обманчивой природы самого языка, он только заостряет выдвинутую Витгенштейном дихотомию.

Когда я говорю: я сказал и т.д., я имею в виду лишь, что смутно сознавал, что так обстоят дела, не зная точно, как они обстоят. И всякий раз, когда я говорю: я сказал это или я сказал то, или рассуждаю о внутреннем голосе... я попросту уступаю некоей условности, которая требует от нас *либо лгать, либо молчать* (курсив наш. — О.К., Е.К.) [Беккет 1994⁶, 95].

При такой альтернативе, когда молчанию противопоставлена не речь — все равно, желает ли она утвердить некие ценности или дискредитировать их, — а ложь, уже не остается сомнений, что молчание у Беккета выступает, по сути, этической категорией. Другое дело, что при всем осознании значимости молчания, перестать говорить оказывается не так просто. И в этом отношении романная форма не в пример драматической, позволяющей изобразить безмолвие иными художественными средствами (хотя бы немymi сценами, которые порой растягиваются на целые пьесы: «Сцена без слов I» (1956), «Сцена без слов II» (1956), «Дыхание» (1969)), не в состоянии обойтись без артикулированной речи. Остается одно — говорить о молчании, говорить единственно доступным способом, т.е. чужими, лживыми словами, которые достались нам взаймы и которые позже отойдут к другим еще более затертыми. Строгий логико-этический аске-

тизм витгенштейновского выбора «или — или»: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (7), не отражает мучительность экзистенциальной ситуации беккетовских героев, отягощенных пониманием иллюзорности однозначного решения. Их существование представляется ареной борьбы между говорением и молчанием:

...если бы что-нибудь где-нибудь осталось, о чем можно поговорить, даже не видя этого, не зная, что это, просто почувствовать его рядом, ты нашел бы мужество не умолкать, нет, как раз для того, чтобы замолчать, необходимо мужество, тебя накажут, накажут за то, что ты умолк, и все же ты вынужден замолчать, принять наказание за молчание и наказание за то, что тебя накажали... нет, ничего нет... никогда никого и не было, никого, кроме меня, ничего, кроме меня, говорящего с собой, о себе, невозможно прекратить, невозможно продолжать, но я должен продолжать, я буду продолжать, без никого, без ничего, только я, только мой голос, нет, я замолчу, я кончу, это уже конец, ненадолго, а это что? дырка, ты проваливаешься в нее, в молчание, это хуже шума, ты слушаешь, это хуже, чем говорить, нет, не хуже, хуже не бывает... [Беккет 1994^a, 440]

Если в «Уотте» создается впечатление, будто герой *буквально* воспринял завет Витгенштейна и стремится ясно проговорить все, что может быть сказано, чтобы в конечном счете достичь молчания, то протагонист завершающей части трилогии, Безымянный, принимает тщетность подобных попыток. Его речь в романе — это диалог с самим собой⁷, который демонстрирует полную зависимость человека от языка, даже в таком естественном порыве, каким является желание замолчать: «...как получается, если говорю все же я, что я говорю не переставая, что я хочу перестать, но не могу...» [Там же, 433].

Но если я не могу замолчать, то кто вообще этот «я»? Вопрос о субъекте, который выступает действующим лицом мышления и воления, незыблемым центром новоевропейского представления о мире, поднимается Беккетом именно в контексте языка. Говорение растворяет в себе мысль, действие, волю, и в такой парадигме автоматического словопроизводства его *сogito* теряется, исчезает. Его отсутствие, которое больше не удастся скрыть за маской личного местоимения, только усугубляется одержимостью беккетовских героев как-то идентифицировать себя⁸. В их арсенале средств самоутверждения нет ничего, кроме языка, который всегда норовит обезличить самые интимные переживания, являясь по определению языком других.

Сейчас я должен говорить о себе, даже если мне придется употребить для этого их язык, это будет начало, шаг к молчанию и конец безумию, безумию говорить по обязанности и не быть способным сказать ничего, не считая того, что меня не касается, того, что не важно, того, чему я не верю, того, чем меня до конца напичкали, чтобы не дать сказать, кто я и где я, чтобы не позволить сделать то, что я должен сделать единственным образом, который может положить конец этому, не дать сделать то, что я должен сделать [Беккет 1994^a, 359].

Только сражаясь с языком, герой Беккета способен закрепиться в качестве чего-то реально существующего, а не просто очередной языковой конструкции. Движение к молчанию, которое является определенной жизненной стратегией, оказывается и постоянно возобновляемой этической практикой. Оно требует усилия именно для того, чтобы оставаться движением; не существует никакой активности за пределами слов. Субъект говорения становится субъектом молчания в той мере, в какой он продолжает говорить. Эта парадоксальная ситуация выступает своего рода маркером изменения исторической субъективности — раскола сознания, когда трансцендентальное *эго* более не способно обеспечивать целостности индивидуального *Я*, утрачивая в том числе и свой статус носителя высших ценностей.

...я — это как раз то, что делит мир пополам, по одну сторону то, что снаружи, по другую то, что внутри, граница не толще фольги, я — ни то, ни другое, я посередине, между ними, я обладаю двумя поверхностями и не имею толщины... [Беккет 1994^a, 426].

В системе Витгенштейна субъект тоже обретается на периферии языковой вселенной. Оригинальность «Логико-философского трактата» среди прочего объясняется и тем, что это едва ли не первое произведение новоевропейской мысли, в котором сознанию отводится столь скромная роль. В ранней теории Витгенштейна потребность в субъекте возникает не для того, чтобы утвердить познаваемость мира — логика как предпосылка изоморфизма мира и языка полностью решает эту задачу, — а как раз для того, чтобы очертить этическую сферу: «Доброе и злое — это, по существу, только Я, а не мир» [Витгенштейн 2009^a, 134]. «Субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира» (5.632), — гласит один из тезисов «Трактата». Промежуточное положение означает, что субъекту нет места в мире и что происходящее не зависит от его воли, но, с другой стороны, он и не трансцендентен миру: он именно граница, та самая, которая делает мир «его миром»⁹. Я обнаруживается у Витгенштейна не прямо, а косвенно — посредством универсума, который оно воспроизводит со своей точки зрения. Субъект, таким образом, лишается привычных привилегий, выступая скорее в качестве подчиненного миру, однако только эта узкая перспектива видения и придает законченность всему существующему. В моральном плане (который Витгенштейн приравнивает к онтологическому) понимание субъекта как границы предполагает не возможность преобразовать мир, а шанс стать другим самому — за счет корректировки собственных установок.

Если добрая или злая воля изменяет мир, то ей по силам изменить лишь границы мира, а не факты, — не то, что может быть выражено посредством языка.

Короче, мир благодаря этому должен тогда вообще стать другим. Он должен как бы уменьшиться или увеличиться как целое.

Мир счастливого отличен от мира несчастного (6.43).

Апофатическая этика Беккета и Витгенштейна не предлагает определенного кодекса поведения. Это связано в первую очередь с недоверием обоих авторов к чеканным формулам моральных императивов, которые теряют принудительную силу, как только единичный опыт разбивается об условность всего высказываемого. Слова в предложениях способны описывать лишь факты, всегда случайные, никак не затрагивая смысла мира как целого или смысла конкретной человеческой жизни. Поэтому этика из разряда универсального знания переходит у Беккета и Витгенштейна в регистр индивидуальной практики, т.е. становится образом жизни, который осуществляет каждый отдельный человек всегда на свой страх и риск. Молчание здесь выступает тем внутренним горизонтом, который позволяет человеку выстраивать свой ничем не гарантированный экзистенциальный маршрут в мире нейтральных фактов и отражающих их пустых слов. Разочарование в возможностях речи тем сильнее, чем больше упования на силу языка: и Беккет, и Витгенштейн обретаются во всецело лингвострической вселенной, потому и молчание, которое они проповедают, — это молчание внутри языка: «... слушаю себя, как я говорю о молчании, я знал, что оно наступит, я появляюсь из него, чтобы поговорить о нем, я остаюсь в нем, чтобы поговорить о нем...» [Беккет 1994^a, 454].

Примечания

¹ Здесь и далее «Логико-философский трактат» приводится по изданию: [Витгенштейн 1994^б] – согласно общепринятому канону, где цифры в скобках отсылают к соответствующему афоризму, нумерация которых была установлена самим Витгенштейном.

² Вполне оправданно использование этого выражения, которым Витгенштейн лаконично определяет задачу философии, применительно к Беккету. Беккет черпал вдохновение в том же идейном источнике, что и Витгенштейн, который оригинально развил критику языка австрийского теоретика Фрица Маутнера. См.: [Skerl 1974; Garforth 2004].

³ Проза Беккета имеет много общего с философией. Это лучше всего сформулировал Борис Дубин в предисловии к замечательной статье канадского литературоведа Хью Кеннера «Картезианский кентавр. Эссе о Беккете»: «Слово Беккета – в особых отношениях с философиями, верней, с теми принципиальными ходами и формами мысли, которые исторически, собственно говоря, и реализовались на Западе в виде философии... Антропологическое, даже антропометрическое беккетовское слово... представляет, отыгрывает, разбирает и собирает те ключевые метафоры, которые веками задавали для западной философии образ мира и характеристики человека в его способности (читай, неспособности) этот мир познавать: протяженность, движение, причинность, телесность, пространство и время, сцена и сон, речь и письмо» [Дубин 2010, 344]. На Западе монографии и сборники статей, посвященные этой теме, появляются с завидной регулярностью. См.: [Feldman, Mamdani 2015; Broomfield 2014; Uhlmann 2006; Lane 2002].

⁴ Вскоре после выхода романа, в 1959 г., такую идею высказала Жаклин Хефер. Марджори Перлофф в книге «Лестница Витгенштейна» посвящает отдельную главу этому роману Беккета, однако упор делает на созвучность «Уотта» поздней философии Витгенштейна [Perloff 1996, 115–144]. В последние годы тему конгениальности Витгенштейна и Беккета серьезно разрабатывает канадский теоретик литературы Андре Фурлани [Furlani 2015].

⁵ Лоуренс Харви приводит это признание Беккета в своей книге [Harvey 1970, 222].

⁶ В эссе, написанном Беккетом вскоре после завершения «Уотта» и посвященном живописи братьев Ван де Велде, тема рекурсивности языка всплывает снова, но уже в контексте собственно литературного творчества: «Ведь стоит попытаться утрудить слова настоящей работой по пересадке опыта, стоит заставить их выражать что-то другое, кроме самих слов, как они вытягиваются в ниточку, сводя друг друга на нет» [Беккет 2005, 155].

⁷ Ср. запись Витгенштейна 1948 г.: «То, что я пишу, – это почти всегда монолог, обращенный к самому себе. То, что я говорю самому себе с глазу на глаз» [Витгенштейн 1994^а, 483].

⁸ См. об этом подробнее: [Kings 2005, 199–238; Tsoupas 2010, 189–234].

⁹ См. об этом подробнее: [Суровцев 2001, 269–277; Schulte 1989, 85–93].

Источники и переводы – Primary Sources in Russian and Russian Translations

Беккет 1994^а – Беккет С. Безымянный // Беккет С. Трилогия (Моллой, Мэлон умирает, Безымянный). СПб.: Издательство Чернышева, 1994. С. 320–462 (Beckett, Samuel. L'Innommable. Russian Translation 1994).

Беккет 1994^б – Беккет С. Моллой // Беккет С. Трилогия (Моллой, Мэлон умирает, Безымянный). СПб.: Издательство Чернышева, 1994. С. 3–193 (Beckett, Samuel. Molloy. Russian Translation 1994).

Беккет 2004 – Беккет С. Уотт. М.: Эксмо, 2004 (Beckett, Samuel. Watt. Russian Translation 2004).

Беккет 2005 – Беккет С. Мир и пара брюк // Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 151–164 (Beckett, Samuel. Le Monde et le pantalon. Russian Translation 2005).

Беккет 2009 – *Беккет С.* Немецкое письмо 1937 года // Беккет С. Осколки: Эссе, рецензии, критические статьи. М.: Текст, 2009. С. 96–99 (Beckett, Samuel. German Letter of 1937. Russian Translation 2009).

Витгенштейн 1994^a – *Витгенштейн Л.* Культура и ценность // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С. 407–492 (Wittgenstein, Ludwig. Culture and Value. Russian Translation 1994).

Витгенштейн 1994^b – *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С. 1–73 (Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Russian Translation 1994).

Витгенштейн 1994^b – *Витгенштейн Л.* Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С. 75–319 (Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. Russian Translation 1994).

Витгенштейн 2009^a – *Витгенштейн Л.* Дневники 1914–1916 // Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. М.: Канон+: Реабилитация, 2009. С. 29–149 (Wittgenstein, Ludwig. Notebooks 1914–1916. Russian Translation 2009).

Витгенштейн 2009^b – *Витгенштейн Л.* Из писем Витгенштейна к Л. Фиккеру // Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. М.: Канон+: Реабилитация, 2009. С. 317–320 (Wittgenstein, Ludwig. Briefe an Ludwig von Ficker. Russian Translation 2009).

Витгенштейн 2009^b – *Витгенштейн Л.* Лекция об этике (1929 или 1930) // Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. М.: Канон+: Реабилитация, 2009. С. 330–342 (Wittgenstein, Ludwig. A Lecture on Ethics. Russian Translation 2009).

Ссылки – References in Russian

Дубин 2010 – *Дубин Б.* Гамлет: версия Йорика // Вестник Европы. 2010. № 28–29. С. 344–345.

Суровцев 2001 – *Суровцев В.А.* Автономия логики: Источники, генезис и система философии раннего Витгенштейна. Томск: Издательство Томского университета, 2001.

Voprosy Filosofii. 2019. Vol. 1. P. 77–88

Ethics of Silence. The Case of Beckett and Wittgenstein

Oxana A. Koval, Ekaterina B. Kriukova

In the paper, the unwritten moral teachings of Ludwig Wittgenstein, characterized by its author as fundamentally unverbally, are compared with the main semantic intent of Samuel Beckett's novels, in which the connection between silence and speaking is emphasized as an existential problem. Comparative analysis is carried out in several directions and involves some controversial issues, which in the modeled dialogue between Beckett and Wittgenstein receive a comprehensive coverage. In the field of attention are the following principal points: the phenomenon of meaninglessness (both authors interpret it as an intermediate zone in the transition from speaking to silence); collapse of illusions about language as a guarantor of the world's rationality; the question of the linguistic construction of any knowledge, including scientific knowledge; eliminating of the logical division of speech into true and false; dependence of the subject (and the very subjectivity) on the power of language. The heritage of two iconic figures of the twentieth century considered from this point of view shows that silence of a language, that plays a fundamental role in shaping the image of the world, represents a value category of a different type of ethics. The apophatic paradigm proposed by Beckett and Wittgenstein can be considered as an alternative to traditional moral doctrines.

KEY WORDS: L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, S. Beckett, ethics, language, silence.

KOVAL Oxana A. – CSc in Philosophy, Associate Professor of Department of Philosophy and Religious Studies, Russian Christian Humanitarian Academy, St. Petersburg.

ox.koval@gmail.com

KRIUKOVA Ekaterina B. – CSc in Philosophy, Independent Researcher, St. Petersburg.

depiobo@gmail.com

Received at April 13, 2018.

Citation: Koval, Oxana A., Kriukova, Ekaterina B. (2019) “Ethics of Silence. The Case of Beckett and Wittgenstein”, *Voprosy Filosofii*, Vol. 1 (2019), pp. 77–87.

DOI: 10.31857/S004287440003622-9

References

- Broomfield, Arthur (2014) *The Empty Too: Language and Philosophy in the Works of Samuel Beckett*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.
- Dubin, Boris (2010) “Hamlet: Yorick’s Version”, *Vestnik Evropy*, Vol. 28–29, pp. 344–345 (in Russian).
- Feldman, Matthew, Mamdani, Karim (2015) *Beckett/Philosophy*, Ibidem-Verlag, Stuttgart.
- Furlani, André (2015) *Beckett after Wittgenstein*, Northwestern University Press, Evanston, IL.
- Garforth, Julian A. (2004) “Samuel Beckett, Fritz Mauthner and the ‘Whoroscope’ Notebook: Beckett’s Beiträge zu einer Kritik der Sprache”, *Journal of Beckett Studies*, Vol.13/2 (2004), pp. 49–68.
- Harvey, Lawrence E. (1970) *Samuel Beckett. Poet and Critic*, Princeton University Press, Princeton.
- Krings, Marcel (2005) *Selbstentwürfe: zur Poetik des Ich bei Valéry, Rilke, Celan und Beckett*, Francke, Tübingen.
- Lane, Richard J. (2002) *Beckett and Philosophy*, Palgrave, New York.
- Perloff, Marjorie (1996) *Wittgenstein’s ladder: poetic language and the strangeness of the ordinary*, University of Chicago Press, Chicago.
- Schulte, Joachim (1989) *Wittgenstein: eine Einführung*, Reclam, Stuttgart.
- Skerl, Jennie (1974) “Fritz Mauthner’s ‘Critique of Language’ in Samuel Beckett’s *Watt*”, *Contemporary Literature*, Vol. 15, pp. 474–487.
- Surovtsev, Valerii A. (2001) *Autonomy of Logic: Sources, Genesis and Philosophy of Early Wittgenstein’s Philosophy*, Izdatelstvo Tomskogo universiteta, Tomsk (in Russian).
- Tsoupas, Artemis (2010) *Handeln und Sein: zur Konstitution von Subjektivität bei Jean-Paul Sartre und Samuel Beckett*, Winter, Heidelberg.
- Uhlmann, Anthony (2006) *Samuel Beckett and the Philosophical Image*, Cambridge University Press, Cambridge.